

природных различий между людьми. Это краеугольный камень коммунистической идеологии, который никак не вяжется с понятием «элита», имеющим происхождение прямо противоположное — аристократическое, предполагающим своего рода избранность, особую талантливость, превосходство над массой населения, а также статусность и обособленность, имеющую в том числе и наследственный характер. Последние черты, конечно, наблюдались и в советском обществе, но всегда подвергались резкой критике (пусть не особенно влиявшей на положение дел, но важной с политической точки зрения). Регулярные чистки, репрессии, ротации и прочие «прополки», нередко в одночасье низвергавшие с вершин власти многолетних их обитателей, «вождистский» и строго иерархический принцип функционирования властной системы, многие другие особенности (проблема собственности, статуса и др.) вполне наглядно, как кажется, демонстрируют, что никаких «элит» в СССР быть просто не могло. В связи с этим соглашусь с Т.Ю. Красовицкой: «Разве не точнее советская власть (и авторы) их называла пусть и руководящими, но всего лишь кадрами?»⁴⁰. Убеждён, что терминологический аппарат исследований по социальной истории, до сих пор почти целиком (и, как правило, некритично) заимствуемый из зарубежных публикаций, нуждается во вдумчивом анализе и уточнении с учётом реалий отечественной истории.

Данное исследование демонстрирует интересный, смелый и дискуссионный взгляд на проблему общественного устройства и структурирования нашей страны, совмещает широкий хронологический охват с оригинальными исследовательскими подходами и неожиданными концептуальными суждениями. Оно даёт богатый материал для размышлений, порой заставляет взглянуть на, казалось бы, привычные сюжеты по-новому. А именно это и есть признак качественной и заслуживающей внимания работы.

Элис Кимерлинг Виртшафтер: Новая социальная история России⁴¹

Elise Kimerling Wirtschafter (California State Polytechnic University in Pomona, USA): Russia's New Social History

DOI: 10.31857/S086956870013455-1

С появлением в середине XX в. «новой социальной истории» учёные устремились к поиску инновационных проблематик, методологий и источников. Историческое исследование, обогащённое социологическими теориями, антропологической практикой и доступом к обширным архивохранилищам, становится всё более динамичным и многозначным. В результате сформировалась расширенная база знаний, а историописание было признано принципиально перспективным. С позитивистской точки зрения, фрагментация может показаться сомнительной тенденцией. Тем не менее историки неизменно сходятся в том, что любая историческая ситуация включает в себе множество элементов и опытов, каждый из которых должен учитываться и документироваться. Прошли времена большого нарратива, позволявшего победителям доминировать в написании истории и её увековечивании в общественной памяти. Конечно, победители по-прежнему пишут свою историю, но со временем

⁴⁰ Красовицкая Т.Ю. Национальные элиты как социокультурный феномен советской государственности (октябрь 1917 — 1923 г.). Документы и материалы. М., 2007. С. 18.

⁴¹ Перевод с англ. О.К. Ермаковой.

неизбежно возникают и множатся конкурирующие голоса и альтернативные интерпретации.

Советская историческая наука второй половины XX в. имела много общего с «новой социальной историей» Запада. Несмотря на то что коммунистические идеологические ограничения порой мешали учёным свободно следовать за источниками, историки того времени преодолевали политические преграды, сосредоточившись на сборе эмпирических данных. Даже в пределах обязательных марксистских интерпретаций капиталистического развития и пролетарской революции историки обращались к широкому кругу тем, относящихся к изучению социально-экономических отношений⁴². Работы, созданные в период холодной войны, по сей день остаются фундаментальным звеном в развитии социальной истории и ценным источником информации. К тому же за последние 30 лет молодые российские историки умело воспользовались постоянно растущим спектром допустимых предметов и методов исследования. Они освоили социологический структурализм, исследовательские направления, восходящие к истокам Школы «Анналов» 1930—1940-х гг., антропологический микроанализ и историю понятий — и всё это наряду с непрекращающимися, в сущности, неограниченными архивными изысканиями. Краткого комментария будет недостаточно, чтобы отдать должное геркулесову труду нескольких поколений учёных, чьи обширные исследования ещё в должной мере не укоренились в традиционной историографии. Теоретические рассуждения и эмпирические данные, представленные в книге «Границы и маркеры социальной стратификации в России в XVII—XX вв.», отражают результаты этих плодотворных усилий. Будучи творением нескольких авторов, книга не может полностью интегрировать находки каждого из них, но она с успехом приближает историков к мастерскому владению новейшими научными исследованиями.

Авторы начинают повествование с обзора теоретической литературы, повлиявшей на их образ мыслей. Историки всегда имеют возможность усовершенствовать своё исследование, прочитав работы теоретиков, соответствующие конкретному предмету изучения, в данном случае — труды социологов. Но такое чтение неизбежно носит выборочный характер, а актуальность конкретных утверждений и дефиниций может трудно поддаваться оценке. Дело в том, что каждый историк по-своему обрабатывает теоретические конструкторы, что помогает ему в ходе работы, но не всегда оказывается доступным для понимания читателя. Но даже избирательное освещение теоретических работ, представленное в монографии, иллюстрирует, как адаптация новых методологий вывела учёных за пределы марксистской ориентированности ранней социальной истории.

С начала XX в. историки поместили изучение российского социального развития в рамки проблемы формирования сословий и перехода от сословия к классу⁴³. В общем и целом, учёные сфокусировались на жизненных шансах и структурных императивах, налагаемых на группы, сообщества и индивидов. При исследовании категории «сословие» (или «состояние») первостепенное

⁴² Предметы исследований включали также: условия окружающей среды, демографию, организацию домашнего хозяйства, рыночные отношения, народное сопротивление и восстания, отношения между политической властью и экономическими интересами, связи между социальным сознанием (или субъективным опытом) и материальными условиями повседневной жизни.

⁴³ Замена сословий классами совпадала с переходом от «феодалного» аграрного к «капиталистическому» индустриальному обществу.

значение в определении социальных статусов и границ социальной стратификации отводилось государственной политике. Осуществляя анализ на основе классов, историки обращали внимание на такие аспекты, как образование, род занятий, профессиональная квалификация и, что наиболее важно, доступ к экономическим ресурсам или отношение к средствам производства. Эти широко признанные измерения социальной истории по-прежнему требуют тщательного изучения. Вместе с тем вот уже несколько поколений историков замечают, что макроанализ, основанный на понятиях «сословие» и «класс», не объясняет в достаточной мере реалий социальной жизни России Нового времени. Основная проблема заключается в функциональной двойственности социального языка. Как «сословие», так и «класс» могут интерпретироваться двояко: или как абстрактные социологические категории, транслируемые учёными на социальную реальность, или же как исторически развивающиеся концепты, которые необходимо анализировать, опираясь на разнообразные источники (административно-правовые, литературные или научные), созданные в конкретных исторических ситуациях. Более того, даже если не брать во внимание функциональность, сами значения и способы использования терминологии изменяются во времени и пространстве. Именно поэтому учёные стали применять методы *Begriffsgeschichte* (истории понятий) к широкому кругу категорий и ключевых слов, встречающихся в источниковом материале по истории Московской Руси, имперской и советской России⁴⁴.

История понятий представляет собой увлекательную подопласть, особенно полезную для того, чтобы учиться анализировать источники и чувствовать множество реалий (и соответствующих им проблем), содержащихся в конкретных документах. Но в то же время чрезмерное увлечение историей понятий может превратиться в бесконечное энциклопедическое упражнение, мешающее вполне пригодной дефиниции той или иной категории или ключевого слова прижиться среди учёных. Если социальный язык настолько гибок, неопределён и зависим от видения исторического актора, то фрагментация научного нарратива неизбежна. Вечная фрагментация и разрастание точек зрения в точности характеризуют текущее состояние истории как способа исследования. Кроме того, бесконечная фрагментация объясняет и то, почему историки не могут обойтись без синтеза или категориального анализа. Неудивительно, что недавние дискуссии о неадекватности таких категорий, как «сословие» и «класс», включая комментарий, данный в рассматриваемой работе, привели к выводу, что отказаться от этих парадигм невозможно⁴⁵. В самом деле, свободный обмен идеями и продуктивное научное общение немыслимы без согласия по основным определениям и категориям анализа. В среде, лишённой общепринятых допущений и категориального консенсуса, учёные говорят о разных вещах, не слыша друг друга и никак не продвигая вперёд научное знание и понимание. За прошедшие полвека историки освоили аналитические категории, призванные бросить вызов большим нарративам доминирующих групп и сил. Однако аль-

⁴⁴ Понятия о России: к исторической семантике имперского периода. В 2 т. М., 2012; *Wirtschaftler E.K.* Structures of Society: Imperial Russia's «People of Various Ranks». DeKalb (IL), 1994; *Вульфсон Г.Н.* Понятие «разночинец» в XVIII — первой половине XIX века // Очерки истории народов Поволжья и Приуралья. Вып. 1. Казань, 1967. С. 107—124.

⁴⁵ Для подробного ознакомления см.: *Confino M.* The «Soslovie» (Estate) Paradigm: Reflections on some open questions // *Cahiers du Monde russe*. Vol. 49. 2008. № 4. P. 681—699.

тернативные категории, такие как раса, гендер, геноцид и «другой», способны породить собственные формы господствующего нарратива.

Несмотря на то что историческое знание больше нельзя обвинить в продвижении монолитных представлений о человеческой цивилизации, теоретики культуры и постструктурализма всё же упрекали специалистов по социальной истории в построении абстрактного, детерминистского и статичного анализа сложных и аморфных реалий⁴⁶. Нельзя отрицать, что социальной истории не хватало гуманизации. В то же время критики не сумели распознать, что структуралистские подходы к социальной истории носят детерминистский и статичный характер только тогда, когда они скованы смиренными рубашками идеологии. Структуралистские концепции исторических изменений, связанные с моделями пересечения и динамики развития, могут быть столь же индетерминистскими и созвучными с процессом, как любой другой культурно ориентированный микроанализ социальной практики. Условия, определяющие «структуру», — будь то экологические, экономические, технологические, юридические, «основанные на обычном праве» или концептуальные — в сущности, интерактивны и всегда подвижны. Иными словами, взаимоотношения между правовыми предписаниями, материальными условиями повседневной жизни, статусной дифференциацией, культурными ожиданиями и социальным сознанием никогда не бывают застывшими. Подобно индивидуальным субъективностям, они предполагают непрерывную адаптацию и изменчивость. Медленно текущее структурное изменение (*longue durée* в терминологии Броделя) всё же является изменением.

Ассимиляция множества теорий, методов и источников информации, безусловно, обогатила современную российскую социальную историю. Авторы книги корректно представили социальную стратификацию как динамичный и неопределённый процесс, протекающий во времени и пространстве. Они утверждают, что определения различных социальных групп могут зиждиться на солидных правовых, экономических, территориальных, гендерных, конфессиональных, этнических и культурных основаниях, но наряду с этим процесс стратификации раскрывается на разных уровнях человеческого взаимодействия, включая индивидуальное восприятие. Внимание к процессам самоидентификации и социальной связки на индивидуальном и локальном уровнях побудило учёных выйти за рамки абстрактных категорий структуралистского мышления и обратиться к микроанализу повседневных практик и изучению культурных привычек. С другой стороны, переход к культурному анализу легко может обернуться изучением нерепрезентативных субъективностей. Микроисследование введённой Школой «Анналов» категории *mentalité*, произрастающее из интеллектуальной биографии, теперь занимает достойное место в методологическом инструментарии историков⁴⁷. Однако это ещё не социальная история, требующая такого уровня анализа, который выходил бы за пределы индивидуальных космологий и опытов.

⁴⁶ Постструктурализм и постмодернизм (ассоциируемые с именами таких мыслителей, как Ролан Барт, Жак Деррида, Мишель Фуко и Жак Лакан) подчёркивают неопределённость структур, быстротечность языка и смысла, а также контингентность истины. Согласно Фуко, такие категории, как причина, истина, наука и субъект, являются продуктами языка, следовательно, определяются через осуществление власти и потому не стабильны по своей сути.

⁴⁷ Классический пример: Ginzburg C. The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller. Baltimore (MD), 1980.

Авторы монографии «Границы и маркеры социальной стратификации в России в XVII—XX вв.» не призывают историков пренебрегать абстрактными и макроаналитическими категориями. Скорее, им видится средний путь или средний уровень анализа — между структуралистским детерминизмом и индивидуальной субъективностью⁴⁸. Такой уровень анализа охватывает внутреннее развитие социальных групп и их реакции на государственную политику. В равной степени значимо, что средний уровень требует изучения сообществ, домохозяйств и индивидов. Важнейшим аспектом социальной стратификации на среднем уровне анализа остается «самоидентификация» отдельных членов общества и групп. Иными словами, чтобы попытаться понять значение(-я) общества и отношений, определяющих социальные группы и сообщества, историки должны исследовать множество траекторий взаимодействия и развития. Необходимо формулировать категории и производить нарративы, улавливающие весь спектр общественных действий и идентификаций. В каждом историческом контексте, отмечают авторы книги, история социального обнаруживает различные формы социальной структуры и разнообразные понимания социальной иерархии. Речь идёт не просто о субъективности или индивидуальном восприятии. Скорее, это явление относится к сфере социального взаимодействия, что в современной российской историографии именуется «социумом».

Контуры «социума» остаются размытыми, а его состав непрозрачным. Однако, возможно, именно в этом всё дело. Понятие «социум» подразумевает «сеть» отношений и идентичностей внутри пространства, заполненного динамичными социальными взаимодействиями. Очевидно, что авторы книги описывают «социум» с отсылкой к метафоре «танцплощадки» Н. Элиаса — метафоры, к которой в своё время обращался Ю.М. Лотман⁴⁹. Концепт «социум» объединяет микро- и макроуровни анализа, понимаемые через призму социальной идентичности или идентификации, побуждающей, в свою очередь, обратить внимание на изменчивость индивидуальных контактов. Другими словами, каждый человек обладает множеством идентичностей, которые могут быть или навязаны внешними силами посредством правовых предписаний и экономического устройства, или же восприняты через самоидентификацию.

В целом рассматриваемая работа определяет «социум» как комплексную систему, состоящую из множества «формальных и неформальных ассоциаций, группообразований и отдельных индивидов, постоянно взаимодействующих друг с другом» (с. 121), и можно добавить — находящихся в постоянном движении. Цель авторов состоит в том, чтобы разработать новую модель для описания социальных процессов, найдя в ней место культурным и другим не-

⁴⁸ В издании «*Social Theory and Social Structure*» 1968 г. Роберт Мертон писал, что социологические теории среднего уровня «состоят из ограниченного множества утверждений, из которых логически выводятся и подтверждаются экспериментальным исследованием конкретные гипотезы... Установка на средний уровень позволяет точно определить сферу непознанного. Вместо того чтобы претендовать на осведомлённость там, где её в действительности нет, она чётко указывает, что ещё надо узнать, чтобы заложить фундамент для ещё больших знаний. Это не означает, что она способна справиться с задачей предоставить теоретические решения всех неотложных практических проблем нашего времени; но это означает, что она обеспечивает поворот к тем проблемам, которые уже сейчас можно уточнить в свете имеющихся знаний» (*Merton R.K. Social Theory and Social Structure*. N.Y., 1968. P. 68—69). В русскоязычной версии настоящей рецензии цитата приводится по переводному изданию: *Мертон Р. Социальная теория и социальная структура*. М., 2006. С. 99—100 (примеч. переводчика).

⁴⁹ *Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)*. СПб., 1994. С. 90—102.

материальным факторам. Однако остаётся неясным, каким образом «социум» соотносится с более известными понятиями «общество» и «общественность». Мы возвращаемся к двум взаимосвязанным проблемам: определения категорий и разграничения между навязанной и источник-ориентированной терминологиями.

Каким образом историки могут примириться со множеством методологий и фрагментированной историографии, с которыми они в настоящее время сталкиваются? Некоторые ответы на этот вопрос предполагает обращение к вызывающим в последнее время интерес проблемам транснациональных отношений и глобальных взаимодействий. Однако это требует гораздо большей переориентации, чем подразумевается, когда сравнительную историю называют транснациональной или глобальной⁵⁰. Под знаменем мировой, транснациональной или глобальной истории учёные могут выбирать предметы исследования, проливающие свет на культурный трансфер и пересекающиеся процессы изменений, а именно: пограничные территории, торговые маршруты, рабство, Просвещение⁵¹. Другой путь, который российские историки лишь начали разведывать, — это большие данные. Как ни странно, методы больших данных ведут историков назад к статистическим исследованиям, характерным для ранней социальной истории. Изучение условий окружающей среды, демографических фактов, технологического развития, экономических отношений и социальной организации всегда требовало статистического анализа (или, по крайней мере, сбора данных). Однако во второй половине XX в. обработка данных была примитивной по сравнению с теми возможностями, которые открылись благодаря достижениям в сфере информационных технологий, ставших коммерческими (а следовательно, доступными) начиная с 1990-х гг. Всего несколько десятилетий назад использование количественных методов требовало огромных затрат для получения лишь ограниченных результатов исследования. Серьёзные логистические трудности препятствовали сбору и обработке историками статистически значимых данных. Применительно к государствам столь обширным, как Российская империя или Советский Союз, воспроизведение работы, проделанной Школой «Анналов» или Кембриджской группой по истории населения и социальной структуры, потребовало бы армии преданных исследователей⁵². Сегодня уровень создания и очистки баз данных несравнимо ушёл вперед от того, что только можно было предположить в эпоху «новой социальной истории».

Большие данные отнюдь не панацея, но широкомасштабный статистический анализ может помочь историкам выбраться из пучины фрагментарной

⁵⁰ *Hunt L.* Writing history in the global era. N.Y., 2014; *Putnam L.* The Transnational and the Text-Searchable: Digitized Sources and the Shadows They Cast // *American Historical Review*. Vol. 121. № 2. P. 377—402; *Sebastian C.* What Is Global History? Princeton (NJ), 2016. О начальной интеллектуальной «перестройке» см.: *Bayly C.A.* The Birth of the Modern World, 1780—1914: Global Connections and Comparisons. Malden (MA), 2004.

⁵¹ *Werner M., Zimmermann B.* Beyond Comparison: *Histoire Croisée* and the Challenge of Reflexivity // *History and Theory*. Vol. 45. № 1. P. 30—50; *Conrad S.* Enlightenment in Global History: A Historiographical Critique // *American Historical Review*. Vol. 117. № 4. P. 999—1022; *Stanziani A.* Bondage: Labor and Rights in Eurasia from the Sixteenth to the Early Twentieth Centuries. N.Y., 2014.

⁵² Для ознакомления с новейшими исследованиями, в которых применяются количественные методы, см.: *Dennison T.* The Institutional Framework of Russian Serfdom. Cambridge, 2011; *Муронов Б.Н.* Благополучие населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX века. М., 2010; *Burbank J.* Russian Peasants Go to Court: Legal Culture in the Countryside, 1905—1917. Bloomington (IN), 2004.

концептуализации и избыточной, но минимально обработанной информации. Или, возможно, когда всё сказано и сделано, историки должны просто воспевать плюрализм и культурное богатство разрастающихся методов и взглядов. Говоря словами Л. Хант, «каждый век ищет понимания своего места во времени, и без истории он не имел бы такового»⁵³. Быть может, этой цели уже достаточно.

⁵³ *Hunt L. Writing history... P. 11.*